

Алексей ШЕПЕЛЁВ*Московская область***ТЕМЬ
И
ГРЯЗЬ**

Темь и грязь. Все <читатели> знают, что мне это нравится — я к этому привык: это лучшее в моей жизни. И летом, и даже зимой можно напиться, завертеться и вдруг «включиться», очнуться в ощущении себя в мягкой сырой массе, вверху, внизу — ничего, вернее, черный цвет, черный цвет воздуха; а осенью и весной, как сейчас, сам бог повелел!..

Все пространство, вся реальность кажется виртуальной, как будто ты здесь инородный, внешний объект, все существует само по себе, ты можешь, конечно, передвигаться, хвататься в этой трехмерности, но ничего изменить, сделать нельзя, так как всё — овеществленная картинка: Земля вращается, естественно, не под тобой, не от кружения головы и т.п., а просто вращается, от этого несётся ветер, залетающий то и дело в щели одежды; сверху, где тучи отгорожены от земли черным полусферическим колпаком, сделанным из металла и одновременно из этого черного воздуха, падают, тоносимые ветром в сторону, то прямо на тебя, капли воды, бьют об одежду, по лицу, о лужи и беззвучно в грязь; идти непривычно и интересно, ноги разъезжаются, шатает из стороны в сторону, причем, когда есть какой-нибудь видимый светлый объект, качается вся картинка, как в клипах MTV, чуть не кувыряясь согласно этому перекошенному горизонту, — натыкаешься, тыкаешься со всей силой инерции о кирпичную стену, о дерево или толь-

ко падаешь... Ирреальность добавляется сменой временных планов: эти места, по которым слоняюсь, я настолько изведаль, что если в каждой точке, в каждом месте, где я был, делал что-то в разные времена, поставить мою скульптуру, то весь центр села будет закрыт слоем мрамора, как после залития лавой; я настолько ясно представляю себе каждый клочок этой местности и окрестности при любом освещении, при любой погоде, с любого расстояния, увеличения отдельных деталей или орбитальных обзоров, с разными изменениями, самыми мелкими и непостоянными, связанными для меня с личными событиями, тоже мелкими и незначительными для других, должны быть незапоминающимися и для меня, что все вокруг вызывает автоматические ассоциации, чуть ли не галлюцинации — дождливой ночью я могу видеть знакомый пейзаж в тусклом вечернем свете с только что нападавшим снегом, своими размазанными, черными следами по нему, а вдали, как полотно, плоское небо, как будто отдающее розоватым светом, но его нет — просто синеющие посадки на горизонте, от этого — иллюзия, зрительная и подсознательная потребность в мягком, теплом и банальном розовом тоне...

Я остановился, согнувшись, схватившись за угол школы, вынул из кармана измятую сигарету и спички. Не умею прикуривать на сильном ветру, я и так не умею прикуривать — всегда гас-

*...Как же устоять целой...
с одной дрянью,
которая живет
в моей и твоей душе,
мой читатель?..*

Ник. Лесков

нет спичка... Курю я не ради привычки, а как новички — для усиления опьянения или в отсутствие такового тоже только вечером — вытянул сигаретку и ощущаешь какое-то неприятное одурманивающее одиночество. Надо бросить сие, и пить тоже. В горле постоянно образуется сопливая слизь, которой я плююсь каждый день и весь день — куда попало, глотка и так, говорят, слабовата от самого рождения — а тут почти ежедневный прием холодного самогонца... Опять же без закуски, курение всякого самосада, «Примы», «Родопи». Себя надобно беречь! А родных-то! Где уж нам думать об этом! Как подумаешь — еще больше хочется курить! Ты ещо не вожжался с родными, родной! Кто сказал на бога рашпель?! Натфель... шаршепка... Я понимаю, нарики в пятнадцать лет сводят свой организм на нет, а у нас все как-то не по-настоящему, нет борьбы жизни и смерти, не говоря уже о других дебильных развлечениях подростков... К тому же сырая — и спичка, и бумага! Допустим, посмотрит на меня курильщик — ну что это такое?! — как я жадно присасываюсь к своей этой сигарете, как я быстр в ее курении... Вообще, организм уродский: выпьешь — колет в сердце, хребет и так, а от курения...

Оказывается, я держусь уже не за угол, а за ограду бабушкиного дома. От школы всего тридцать метров, но утром я все равно опаздываю, правда, всего минуты на две. Вот он какой, дом! Он небольшой, но какой... Когда мне было лет пять, я называл его «бутузиком» — мы шли с бабушкой от нас, зима была, по-моему, и я капризничал: «Кой до твоего бутузика дойдешь — замерзнешь!» Тогда мне этот маршрут казался долгим и трудным, а сейчас он осложнился захождением в клуб или же еще черт-те знает куда, иногда дефилированием по школьной площадке — но всегда тянет сюда. Я ж хожу по маршруту как автобус. Утром прибываю в школу с опозданием на 2 мин., после уроков назад — к бабушке (поел тут, иногда поспал), и домой — еще метров сто пятьдесят, отбыл дома часов до 7-8, исполнил свою «высокоинтеллектуальную» обязанность — вычистка навоза с отвозом его на корыте — опять к бабушке, бросил сумку с тетрадями на крыльцо — и в клуб, а также дальше клуба куда-нибудь, часов в 11-12 — возвращение домой к бабушке в пьяном виде, если раньше, в восемь — в трезвом.

Ежели я не суперпьян — мне в вашем сельском ДК делать нечего. Зайдешь, оздороваясь, помытишься, понаблюдаешь за Танечкой, попытаться что-нибудь предпринять по своей младости, но что в таких условиях можно предпринять... вот сегодня, например, смотрю: Танечка заходит на высокий порог, я даже хотел ее за ручку втянуть, но ее втолкала буквально-таки пухлая Леночка, я: «Привет», она: «Привет», я: «а...», а тут сразу: «... на!» — откуда-то выбегает этот е..нутый Макиш и хлесть ее по заду, она отпираться, а он от своей активности хлесть меня в грудак, я: «ты че, мол, браток», — он отстал и опять к ней, прижались где-то в углу, семечки плюют, и он травит, как вчера поимел Олечку... которую и я бы мог. А мне отшибут печень, если я начну представляться (это уже случилось по детству и по соседству). Да, во что превратили девицу! хотя она природно такова, мне ли ее не знать с молодых ногтей, когтей, локтей... Есть в жизни сей моменты, которые разбивают ранние мечты — не то чтобы сызмалости было незнание действительности — нет... просто паскудно осознавать свою пассивность, хочется противостоять... Вот — Танечка, а? Тоже она была... все разговоры... если не обычные темы, тьфу... как бы Танечку... она одна на всю школу, подросла, новинка, так сказать... (причем лучше я не видел...) тут именины у ней и дискотека, ее выводит двадцатидвухлетний Вовик, как самый матерый, и ходят в сумерках около школы, все стоят на порожке, курят, видят ее розовенькие штанишки, видят, как она ходит, вытягивает руки, пытаюсь уйти, и слышат негласное «нет, нет, я еще не могу, отпусти, пойдём лучше в школу, нет, дай руку...», а также: «ну что ж ты, Танечка, ну как маленькая, Танечка, давай, вчера ж тоже вот...» и проч. Тогда я думал, что скоро подрасту, но ошибался... Я пытаюсь, я танцую, я ненавязчиво увидаюсь рядом, но это только слова... Бетонные стены, железные перила из арматуры, большие просторы, тусклый свет из разбитых плафонов, холод, иной раз даже иней в углах, КПЗ, остатки тренажеров, всякая фанера, разбитые унитазы и пожарные ящики ПК... шкурки от семечек, окурки, всякие бега, крики-охи, мат-перемат... Да я и сам-то... хочется чем-то себя занять — курить, клевать семечки — от них тупеешь, смотришь в одну точку, но не осознаешь зачем. Но

«занятие». Итак, я иду к бабушке, в маленький домик, в тепло, ем еду, безбожно чифирю, мочусь в помойное ведро, стоящее в чулане, сижу за столом, разговариваю с бабушкой, она лежит на своей кровати за шторкой, то дремлет, то, проснувшись, что-нибудь спросит или расскажет, я отвлекусь от писанины... полумрак, самодельная настольная лампа; режет глаза — открыл окно и смотрю в черное оконное стекло, постепенно приобретающее прозрачность. Меня видно снаружи, но уже глубокая ночь. Кровать моя рядом с бабушкиной — через шторку, тикают часы, кот лежит в ногах, бабушка храпит или просыпается и заговаривает со мной, я долго не засыпаю: или разговариваю с ней, или думаю о Тане, о себе.

Что есть Танечка (Анечка) в отношении ко мне? То же самое, что и остальная «реальность», частица... Не может же быть девчонка такой умной, умненькой, неординарной или извращенной, чтобы взять и принять мое «отношение» к ней (обычно это называют чувством, необычно — помешательством) — этот интерес, страсть и долг врача-исследователя, рассматривающего некий живой вирус в микроскоп и чувствующего, да же осознающего, что она (он) — цель его жизни, то есть всех мелких действий, мыслей, моментов, порезов пальцев и жертв... Вот он просыпается утром с искривленным лицом, выключает писк будильника, очень рано, ему не хочется есть, ему даже не хочется спать — хочется блевать из-за этой ранности и теми на улице... Вот он едет на другой конец города, вот заходит в больницу... Вот уже темно, он вылез измятый из троллейбуса и зашел домой... Вот он заснул, еле заснул, так как перекурил, болят спина и глаза от блеска белой бумаги и нет семьи — только фотография... Вот он видит во сне ту же больницу, тех же больных, ту же боль — без всяких прикрас и алогизмов — все кристально и детально, как наяву... и просыпается... И тут — маленькое ничтожество на куске стекла, каким 4 года назад пытался порезать руку... Все это — ради этого. Вот какая любовь, какой интерес у меня к этому существу — исследовать всю сущность — до чего велик интерес, представить невозможно: он копился слишком долго — до чего он мелочен. Сколько мурашек появляется на твоём теле от прикосновения ланцетом к груди? а к ноге? а мокрой рыбой?.. Соответствует ли каждая му-

рашка волоску — или есть мурашки без волоска в центре? Плюнь на препаратное стекло — сколько никотина и гнева в этой частичке тебя, ненужной тебе — ненужной?! Сколько сахара в крови, в моче? в ноге? сколько значений слова *turn* ты знаешь? что видишь в листе, прилипшем вдруг к окну? что чувствуешь, вставая утром с постели на пол? вставляя тампон, подкладывая пакет, прокладку, etc? думаешь об этом или гонишь прочь?.. Миллиарды объектов в одном — нужно остановить время, но хочется все решить сразу, не отрываясь, иначе невозможно — одним касанием... Одно касание — и все, больше не будет тайны, не будет объекта, будет все как у всех, но у всех это насилие. Из этих мыслей выплывает образ маньяка — жизнь по принципу — «кто был ничем, тот станет всем», художественная реставрация справедливости, теургические замашечки. Но для Танечки сие пошло, но для городов и мегаполисов сие — в деревне это крайне пошло, тьфу...

Что, можно мне познакомить вас с селом, потому что я уже познакомился, а все, по-моему, не знают этого уголка Земли? Само слово, как и прочие, утратило свое значение... запах сена, идилии и бороды с Есениным в XX веке — нет такой реалии, иллюзия понятия. Нет села, деревни, колхоза, городка и проч. (попутно плюнем на сами эти слова) — есть сельская местность (плюнем и на эти слова, но реалия есть). Иногда едешь очень быстро на машине, смотришь на ландшафт и кажется, что летишь — не столь высоко, но над... над тем, что видишь... Огромное месиво жирной, черной, скользкой грязи, некая плоскость, почему-то кажется, что квадратная — длинная и сплошная, улетающая за предел досягаемости... колеи от тяжелых тракторов, от средних, от легких и... слякоть от ног в калошах, от лошадей и коров, говно, остатки асфальта, смешанные с грязью; сначала на этом полоса домов — все одинаковые, окна на одну сторону, корявые антенны и деревья, ограды, калитки, потом развезенная дорога, потом полоса из прямоугольников огородов и садов — все заросшее американкой и красной травой, заваленное железками и дровами, брошенными тракторами или машинами, вросшими в землю, потом — тоненький ручей, заросший ветлами и травой, заваленный всяким хламом, в т.ч. и мешками с говяжьими кишками (поэтично) —

бывш. река (забыл название); далее — те же огороды, далее — те же дома, тот же асфальт и грязь, далее раскрошившиеся кирпичные и бетонные здания центра, далее — типа свалки, далее — те же остатки асфальта, те же прямоугольники огородов, но сплошь в сорняке и сожженном кустарнике, далее — склады, фермы, мастерская — все без окон, без дверей, вокруг обвалено гнилым силосом, навозом, далее хвост речки в навозе и химикатах, далее американка, грязь и как камни, или скалы — колхозный чермет: старая сельхозтехника в ассортименте и разбросе на километр, далее пашня и посадки, далее — пашня и посадки, далее — уже не пашня, т.е. конец населенного пункта. «Человека на квадратный километр» очень мало, не встретишь даже, есть собаки, жрут всякую падлу. Регулярны только те, кто работает на ферме и ездит туда на повозке или санях, оттудова с поклажей... Юмористический рассказ: с 3000 голов осталось штук 50, половина из них не питались водой наверняка пару недель, а другая половина живет как в тропиках, как в фонтане, причем самое юмористическое в том, что они смотрят друг на друга и от этого существование их очень забавно для окружающих вроде меня или корреспондента райгазеты, считающего «поразительно низкие надои»; телята до того уродливы, что напоминают слоников и их даже противно есть... председателю и начальнику фермы... да, для непонятливых — кормят только сухой соломой, заготовленной лет пять назад или выбранной из навоза, но довольно редко и опять же не всех почему-то, зато доят — 1,5 фляги в день с полсотни голов... Да, нравятся мне коровы, вернее, не как таковые, а их носы... ну и пусть все и подохнут к 2000 году... хотелось бы, конечно, расстрелять кое-кого, но, как говорится, нам... Просто я вчера по пьяни попал туда... (Такая территория по всей «раше», только с изменением цвета почвы... Это худшая местность-жизнь, что есть сейчас, скорее всего, худшая по сравнению со всеми бывшими на ее месте, внешнее прямо пропорционально внутреннему — всегда и везде.)

Надо сказать о привычке: живем мы скудно, а именно: едим одну картошку, жареную или вареную, всегда с луком или чесноком, соленостей мало, особенно мне неприятен жир, на котором жарится картошка: когда свежая, еще ничего, но

утром его вкус... да еще разогреть не успеешь... если я не принесу с собой в «ранце» несколько конфет, какую-нибудь булку или сосиски, то вообще скудно. Есть варенье из яблок, но оно переварено, а потому темное и твердое, как смола, но я ем его с чаем. Для меня сейчас это не важно, хотя пару лет назад я был совсем идеалистом, ел по расписанию, теперь же у меня нет ни целей, ни предпочтений, всё идет само собой (иногда, правда, случаются небольшие моменты воодушевления: а) от так называемого творчества, что сменяется большим моментом упадка, или б) от вина, что сменяется большим моментом припадка деструктивности или просто громкого охаивания всего окружающего), причем я знаю примерно куда, я знаю своих родственников и не своих... да, был знаком году в том... Я еще...

В доме хлопнула сенная дверь — должно быть, бабушка выкинула кота и ложится спать или вышла в сени с помойным ведром. Свет погас — легла или расшторила окна и смотрит. Меня не видит, я вишу на расшатанной оградке и плюю в кусты глухой крапивы. Дождя уже нет, есть ветер. В трубе посвистывает, погромыхивает ржавая жесть на крыше, колышатся и постукивают друг о друга клены в посадках, колышется веревка с половой тряпкой. Звуковая картина не столь разнообразна, поэтому ей можно пренебречь. Все это наводит меня на такую мысль, которую я не могу выразить в словах и понятиях и не стремлюсь, по-моему; я могу смотреть только вдаль или вблизи на что-нибудь, и это что-нибудь и есть выражение той самой мысли, так она материально осознается без формулировки и делается невыносимо... трудно, тревожно, единственный выход — быстрее зайти домой. Ступаешь на порог с крыльца, и кажется, что этот миг — последний, как, например, перед расстрелом, и осознаешь только теперь всю невыполнимость этой «мысли» — главное — переступить порог... (Занесло в символику!)

Я остановился на крыльце — голоса. Кажется, ее голос — наверно, не столь поздно, и Танечка с группой товарищей скитается по спортплощадке... долой!.. домой! Я стучу в тяжелую дверь. Тыфу! надо в окно! Перепрыгиваю через стенку крыльца, бью окоченевшим пальцем по стеклу. В доме тишина и темнота. Еще бью сильно. Отворачиваюсь, смотрю вдаль — на том берегу реч-

ки, на бугре — три синих фонаря, они расплываются от тумана, туман серый и синеватый, тянется от них, а вообще кругом темно, клуб погас, свет только в больнице, но желтый и еще дальше. Когда бабушка лежала в больнице прошлый год, я смотрел на него, как она. Тогда я понял, как она смотрит в темноту сумерек, когда я ухожу, и ждет меня. Сколько раз на эти три туманных лампы я шел с бутылкой за пазухой — грязь по колено, постоянно дождь какой-нибудь... — с надеждой побыть с Таней, а всю осень-то бражку таскал в Лёхину «хаточку»! Я стучу еще раз. А вдруг она не встанет... множество всяких мыслей, которые надо считать ужасными, одновременно проносятся в моей голове, напоминая реальность, к которой я привык относиться двояко — пассивно, с улыбкой или напролом с кровью в зубах... Страх что-то сдавливает внутри, может, это и не страх — самые сильные раздумья о Тане сопровождаются тем же чувством, или когда с ней наедине... Да, сие известное... но нет — это игра какая-то и я на грани ее! Теперь в философию — люблю представляться самому себе и тянуть резину... высшее наслаждение: стоять, плевать, плевать на всех, а если есть кто рядом, то орать матом. Примитивно, конечно. Но легко и просто. Записать бы все это красноречие и вложить в уста идейного нигилиста н. э. Нет. Вроде кто-то зашевелился, я запрыгнул на крыльцо, стучу в дверь, загорелся свет в чулане. Летом я стучал в дверь, бабушка вышла, и ей сделалось плохо, я не знал, бежать домой, позвать всех, позвонить или остаться, разбудили соседей, позвонили врачу, потом пришли, приехали... я был в таком напряжении, что звезды, звездочки, бывшие очень уж высоко в этот день, сплывались у меня в глазах, они не знают, что для меня эти звезды — семечки: я привык к темноте, и все валтужения вокруг — семечки: мне хватит картошки и калош, в коих я являюсь в школу. Тогда я зарекался пить и замышлял кое-что... что-то еще, обращался не то к себе, не то еще к кому-то... но как дрожало мое равнодушное лицо... вот он, нравственный стержень человека! Комфорт и сухость! Заточи его и пиши! Центр равнодушия, равнодушия! А один раз я перепил капитально, причем средь бела дня (был первый день каникул), кидался драться на собутыльников, циркулировал по площадке,

кидаясь кирпичами, разбил окно в школе, меня отводили к бабушкиному дому, мол, иди к бабке, спи, а я обратно, весь извалялся... очнулся на сыром сугробе за домом, зачем-то обошел дом сзади, высунулся из-за угла — бабушка сидит и смотрит, как обычно, на улицу, где, как обычно, ни души: только утром идут в школу, а в обед из нее, и все. Я долго смотрел на нее... потом вышел, шатаюсь, и, поскользнувшись, упал в грязь лицом (буквально), она еле меня затащила, положила спать, а я спяну всячески матерился... Сколько я выпил сегодня? — всего грамм 250; да, не столь пьян, и время только 11, наверное.

Наконец-то открылась сенная дверь. Рука стала шарить, ища выключатель. Какой-то грохот, оторвалась шторка. Я постучал. Голос бабушки: «Ох, я упала...»

Я стал думать, что сказать, уткнувшись в кирпич стены.

— Не могу встать... и дверь-то тебе не откроешь...

— Ты где — около кирпичной стенки? Там попробуй за лестницу...

— Да я не вижу, где я ... ох...

— Пошарь рукой...

— Сейчас попробую вбок...

— Да ты сначала пошарь, лестницу... шторка — это скорее какая сбоку...

— Во... лестница... никак... Вот напасть!..

Я прижался к дощатой двери, на ней крест, нарисованный еще на Крещение. Послышался грохот — она упала на бок, опрокинув по моему ведро.

— Ой, ведро ... что ж это...

Выбить окно в сенях или идти домой?

— Как ты, не убилась?

— Ничего, только не встану теперь... отдохну пока, потом попробую...

— Посиди... пол-то холодный... Ты хоть в шубе?

— В шубе, только она завернулась, не могу вытянуть... пол ледяной — холодно сегодня, по радио передавали — от двух до пяти ночей.

— Так, пойду домой, наверно, отца разбуджу... хоть ломик какой-нибудь или еще что придумаем... или окно высадить?

— Да окно не надо, наверное... я щас попробую...

Я подумал, как воспримет отец мое появление...

ние в пьяном виде в 11–12 часов ночи. А что поделаешь... Да еще захотел в туалет. Обычно я ходил в саманный сарай за домом, служащий по совместительству и курятником, он очень стар и дыряв, едва не разваливается — недаром единственный саманный в селе, но на него бабушка вешает замок, т.к. соседи-алкаши повадились таскать кур. А в данный момент, так сказать, ключи у бабушки.

— Ба, я пошел домой, в туалет сначала схожу... скоро приду!

— Ты тут не пакости...

— Да я к посадкам, туда...

— Лучше в школьный забеги, все равно по пути... попробую подняться... было б за что ухватиться...

— Да ты пока сиди, я сейчас...

Я зачем-то закрыл калитку крыльца, потом дотронулся до вертушки, закрыл калитку оградки, дотронулся до ее вертушки, до трех ближних кольев оградки. Я делал это всегда для себя, не выясняя зачем, бабушка потешалась всегда: «Ох, пока всех оздоровяешь!» Теперь я понял: это магическое охранительное действие. Я повторял его по нескольку раз на дню без всякой сознательной цели-сообразности и никогда не колебался, не задавался вопросом, что это есть и для чего, откуда вообще взялось — я изобрел? Просто как данное, как уметь ходить, думать, соображать (впрочем, это не у всех)...

Школьный туалет, кирпичный, был метрах в двадцати. Я весь мокрый — промок! Причем, самое интересное, что мужской отдел, так сказать, сами «мужики» и свалили по пьяни. Благо я в этом не участвовал! Вот он какой, туалет... темно, и пол ходуном ходит, склизкий от грязи, зато тихо, нет дождя и простор-то какой... Дырку не сразу найдешь — ногой, что ль, шупать?! Помнится, я как-то уж здесь был... в молодости, тоже вечером, и в нашем «ремонт» тоже был, что ли... а тут как-то экзотично-чисто — нет надписей и порнорисунков, «бычков»... и пахнет по-особому... тьфу... причем дед Мурзик завалился, а я ссу, а он испугался и шарнул вон, как кот! Когда рассказал бабушке, она очень смеялась и представляла его по-всячески: «Черт старый! Мурзик! Живешь за километр, а свово туалета не имеешь! бегаешь школьников стесняешь! кабы ты не добежал-то!» Вообще, я уяснил, что лучший разго-

вор, особенно когда собеседники в конфликте или вблизи него, это перемывание костей кому-нибудь постороннему, не со зла, а так, заради анализа. Так, я от бабушки узнал всю историю села и историю каждой личности в отдельности — так что сейчас, когда кто-то пытается представлять себя чем-либо для нас, молодых, не знающих истоков, я-то сразу...

Мне послышалось, что в бабушкином доме что-то гроыхнуло и голоса. Я наспех застегнулся и побежал обратно. Залетел на крыльцо и к двери:

— Бабань, как ты?

— ... а, эт вы пришли... никак не встану...

— Да я только в туалет ходил... думал, ты кричишь... сейчас домой...

— Чтой-то собаки взялись гавкать — как в голодный год...

— Да какие собаки!..

— Какие...

— Так я пошел!

Я выскочил, растворив все двери, и понесся опять в туалет. Поскользнувшись, я упал вперед, но приземлился на руку, поднялся и рассмотрел ее, приблизив вплотную к лицу. Я захотел вытереть руку о побеленную стену в туалете. Когда видишь побелку, всегда хочется провести по ней ногтем, она как будто мягкая, можно углубить надрез, надавив, можно расширить, ведя всем ногтем, можно закруглить траекторию одним спонтанным движением... А брызги грязи! Не видал побелки, которой по любому поводу не коснулись брызги грязи... Лицо у меня тоже в брызгах. Ты когда-нибудь видел себя в зеркале, в полный рост, без п о с р е д н и к о в? Смотришь, смотришь ближе и неподвижно сознаешь как будто в виде чего-то забавного, что вот этот настоящий человек, ты его видишь не по телевизору, не на фото, не из окна, не перед собой в движениях и речи или во сне — а видишь просто его неподвижно и симметрично себе, и то, что он существует, и стоит здесь — твоя заслуга, стоит тебе шевельнуться, моргнуть, даже сосредоточенно подумать о чем-то, ты увидишь это, да, что это есть ты, тебе надо бы идентифицировать себя с этим. Внимательно присмотревшись (к объекту), увидел много незнакомого и чужого, о чем никогда не мыслил и даже не знал. Почему? — ас-

социация себя со своим «я» у большинства людей, может, и у всех, однобока, «дебильна»! Какие-то фрагменты, какие-то отражения, виденные мимоходом или рассматриваемые специально (что уж паче фильтр), лелеются в подсознании и действуют по типу файлов: надо я — вызвал эти картинки, совмещенные в одной, они же проецируются на все твои отражения, постоянно держатся наготове, в активе, при каждом произнесении значимого, отделенного от глагола я, или когда ты пишешь это слово, местоимение я с подобием головы и ног, с особым, очень внутренним удовлетворением рисуешь его в клетке на белой бумаге, если б ты остановился, подумал бы, ты бы мог выдать буквально ксерокопию своего любимого отражения... Изредка следует обновлять программы — меньше будешь падать...

Я остановился на мгновение, прильнув грязной рукой к стене туалета (надо сказать, что дверей у него нет — просто заход за стенкой), и мне показалось, что то ли внутри, то ли у бабушки опять... Я оглянулся на дом: на фоне его единственной побеленной белой стены были три дерева от кленовых посадок. Я к лету отпилил им макушки на разжижку, на растопку, а сейчас их стволы-столбы обрамлены сверху побегими, изогнутыми, как пружины, или лучше волосы, и застывшие так до весны. Косо они проецируются... на стенку от дальнего света в окне больницы. Опять мое зрение захватило образ белого простора тетрадного листа (можно фигурально выразиться, что у меня на уме не только субъективное и объективное, а еще нечто среднее, их соединяющее, обостренная зрительная, зрительно-образная память, реальность тетради, бумаги, почерка, слова; иной раз даже снится весь сон — там, на бумаге, происходит свое действие, решаются невыносимые проблемы, все кишит особым смыслом); я представил рисунок, который наряду с несколькими другими (примитив — крестики, галочки, рожицы и т.п.) наиболее часто воспроизводим мы от нечего делать, — он напомнил мне эти посадки — сначала закрашивается небольшой кружок из точки, а из него ответвляются неровные, волнистые линии... А что, не чувствовал себя большим, или... великим — приятное слово в значении «большой», — когда стоял на краю косогора под солнцем? А сначала,

когда шел и вдруг глянул вниз, — даже отшатнулся! — 10 метров и длинная яйцевидная голова — и все твое!

Я зашел, хлопнув ладонью о гладкую побелку, — кто-то здесь. В полсекунды я был размят меж двух ударов-движений: распахнуть куртку и — выскочить вон. Я услышал Танюшку и различил едва привыкшим зрением: поза ее была неестественна. Размятость я ощутил: и в голове, и во всех внутренностях, в сердце, наверно, во-первых, но я не столь привык его дифференцировать... Потом, по-моему, она сказала: «Помоги мне встать», а может, и нет, или это вырвалось у меня... нет, вернее, внутри... как-то что-то «переклинило»... Танечка! Вот она!.. Да, это она... она попала ножкой в дырочку... и в грязь... как это трогательно и смешно... из-за меня, наверно... согнутой коленкой, что ль, заклинила?! Отверстие квадратное, маленькое... Между прочим, яма под сортиром глубиной метров восемь, помню, когда мне было годика так четыре-пять, мой дружан (впрочем, не дружан, а дерьмо и дебил!) — он был постарше — залез как-то туда, под низ, сортир был еще новый, и на переменах смотрел вверх, его, конечно, обосрали... Танечка, что ж ты это, Танечка?! Да ты дай... хоть за шею схвати!.. Причем он обратно выбраться не смог, стал орать, но никто не соизволил, а призвали родителей. Я-то был не такой дубок — сделал лесенку, песенку, залез туда, причем с двумя подругами, и, помнится, смотрел на них, а они были очень рады такой интимной обстановке и не чуждались меня, тем более, что наверху, кроме одной учительницы, никто не заходил — в общем, все мы измазались — тьфу! — и нам опять же задали взбучки, и еще за то, кстати, что девочки были очень рады всему и кричали: «Мы задули!» Вот она какая теплая. Да, ты грязная. Нельзя же так. А я тоже ведь хочу в туалет, очень сильно. Я хочу тебя так. Почему ж ты никогда не давалась мне в руки, не удостоивала даже честью какой-нибудь совместной работенки или, например, прогулки?! Думаешь, мне не было больно и нестерпимо от каждого твоего смешка с другими, от каждой твоей улыбочки рядом со мной! Да, я дерьмо, а что я могу поделывать?! Тем более сейчас! А только посмотришь на все видоизменения твоих поз, твоих ног в спортивных трико — складки, складочки, вкладочки, впадочки, на-

тяжения, прояснения! хоронишь и хранишь эти снимки вместе с лучшими своими файлами, каждый день пересчитывая и оживляя, — вот кукольная анимация! Сейчас я тебя пересчитал — теперь же оживлю. И руки уходят в тебя. Мне почему-то это до боли знакомо... помнишь, Таня, во втором классе мы играли на куче мешков с удобрением — руки, обхватив мешок, впиваются, врываются пальцами в полиэтиленовую кожу и выпускают сыпучую, теплую почему-то муку. Какая тактильная тактика! Мы все перепачкались в этих химикатах, розовые и одуревшие от запаха, стали валяться, кувыряться, рвать все... Это было первое мое «буйство», а и твоё тоже. А как тебя Фома ткнул лицом в мешок! Ты чуть не подохла... т.е. не задохнулась — потом три дня лечила глаза в райбольнице и не ходила в школу... Кстати, какая символичность! Какая личность! трансперсоналия! Этот прыщавый акселерат Фома тоже в той поре учудил: ему было 13, по-моему, а Ленке московской, Арбузихе, 15 — до чего ж была пухленькая и вульгарненькая! она приехала летом и ошивалась с нами — мы-то шершни, а у Фомы ужо был период созреваний — он был особенно похабен на словах или юбки задира — просвещал нас. Один раз Леночка пошла в Фомин туалет, мы стоим, а Фома вломился к ней, она стала трепыхаться и орать, а потом стонать и выходит через пять минут вся скомканная, довольная и растрепанная — даже волосы в красноватой массе, но то была не кровь... До чего ж человек приспособлен к себе! А помнишь, как всем классом вы навалились на меня и по чьему-то злобному почину хотели

снять с меня штаны... в т.ч. и ты, но, конечно, не все сразу получается — учиться надо, с годами... потом раз бежать, а я схватил тебя, причем за трусики, они стянулись довольно-таки, и ты лежишь навзничь в хорошей позе, правда, я тогда не понимал всей прелести... гм... и так как был аффектен, по инерции залепил тебе, уже бегущей, осколочком вот такого кирпичища по черепной коробочке! Как ожила-а! Как ты сильна, ты меня задушишь! Не надо насилия, не надо анархии, прошу тебя... Ну вот этого уже не прошу! давай! Как ты тверда, горяча и темна! я не вижу... Все уходит из моей жизни, из ее настоящего момента, вот — мгновение — нет ничего... ничего? ничего! ничего... ничего.

Я очнулся в темноте. Тикают часы, узкая полоска света из расшторенного окна, фурьчет кот на сундуке, за шторкой сопит во сне бабаня — все как всегда, все — до редкого капанья дождя в бачок во дворе и неразумного заглядывания в окно тени от моих постиранных штанов. Полежав так с минуту, я подумал: могу ли я верить в это, когда знаю, где б я ни был, просыпаясь или просто закрыв глаза и оставив мысли, ощущаю себя здесь, вернее, там — у бабушки. Я очнулся еще раз, и что я могу констатировать? Могу ли я консп... констатировать?

Я лежал. Здесь ли мое тело? Руки мои черны и липки. И куда ни плюнь, то же самое.

Ноябрь 1997

□

Алексей Александрович ШЕПЕЛЕВ

родился в 1978 г.

Окончил филологический факультет

Тамбовского государственного университета.

Кандидат филологических наук.

Писатель, поэт, критик-рецензент.

Автор книги стихотворений «Novokain ovo», романов «Echo»,

«Махтит еххтретит», киноповести «Дью с Берковой».

Лауреат конкурса «Северная звезда-2009» в номинации «Проза».

